

БЕТОН

19 октября 2019

ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ МЫ ЗДЕСЬ

Открытие начинается с обычного признания: мы не знаем. Не знаем, что делать, но седьмой континент — внутри нас, в нашей крови, в нашем мозгу. Встреча о бетоне — четвёртая остановка программы Sindirim, и в этот раз предмет тяжёл, как сам город. Городская реновация, городские движения, практики обобществления, асбест и его следы в теле, городская экология — всё, что вращается вокруг бетона, втягивает нас в Стамбул.

Но сначала показывают видео: «1457 Анкара. Отрезок». В поясе астероидов между Марсом и Юпитером есть астероид № 1457, и его имя — Анкара — немецкий астрофизик дал ему это имя, потому что вёл наблюдения в Анкаре. Документальный фильм через монографию одного осла рассказывает о разрушении Анкары. Из шестидесятиминутного фильма — пятнадцатиминутный отрезок — смерть жёлтых чудовищ, организация против разрушения.

Затем на сцену выходит академик, и его рассказ начинается с Франции. Анри Пеццера, токсиколог, в 1974 году работает в парижском пригородном университете Жюссё. Эксперименты в его лаборатории постоянно дают неверные результаты — ни один тест не получается. Причина — асбестовое волокно, осыпавшееся с потолка; под красивыми стенами нового здания течёт яд. Пеццера не оставляет своё открытие в одиночестве: превращает его в кампанию между профсоюзами университета. В тот же период женщины-работницы на заводе Amisol, производившие асбестовую ленту для французской армии, оккупируют завод — «нашего завода не отдадим, нашей работы не отдадим». Команда Жюссё идёт к работницам и говорит: «да, завод и работа важны, но этот завод вас убивает». Два движения встречаются: из знающего действия и из действующего знания рождается народное движение.

Академик пришёл из Совета по охране труда и безопасности работников. Тема — следы, которые все экологические катастрофы оставляют в теле работника. Есть документальный фильм, снятый сыном Пеццеры: «Sentinelle» — часовой, страж, но больше в смысле «продолжать слышать одно». Упорное усилие продолжать слышать ту правду, которую всё время прикрывают, которую от нас прячут. Здоровье работника — первый зритель здоровья среды; первые следы читаются в этом теле.

История возвращается в Турцию и прикрепляется к самому месту. Это событие биеннале на самом деле должно было пройти в Tersane İstanbul — на берегу Золотого Рога, в индустриально-наследном пространстве. Но в процессе стройки асбестовые материалы старых зданий не удалось вычистить. Получены независимые заключения, налажен процесс — на событии, куда приходят сотни тысяч человек, в виде исключения хорошо отработавший процесс информирования — и событие перенесли в Мимар Синан.

«Причина, по которой мы здесь — асбест.»

Асбест — не только промышленный; в Турции он выходит и природно. Эрионит, идущий из геологической истории Каппадокии — природный асбест. Иззеттин Барыш и несколько исследователей годами работали над этой темой. Но промышленный асбест — другая история. Завод Izosam в Диловасы основан в 1967 году, в 2007 году передан крупнейшему французскому бывшему асбестовому концерну Saint-Gobain. На территорию в два декара сваливаются все отходы; стеклянная пыль, смешиваясь с окрестным асбестовым

ломом, создаёт невероятно токсичную среду — завод здесь, отходы здесь, люди тоже здесь. На керамических предприятиях Eczacıbaşı в Бозуюке работают тысячи рабочих, и показатели силикоза пугают. Рабочие вынуждены выбирать между хлебом и жизнью. У них во главе — «жёлтый» профсоюз, и в официальных отчётах — ноль профзаболеваний; никто не умирает, по официальным записям. Асбест живёт как минерал — под землёй, как индустрия — в лёгких работника, как сокровище — в государственных отчётах. Компании, финансирующие художественные события, и компании, делающие рабочих больными — одни и те же; из-за отсутствия общественного финансирования приходится мириться с этими спонсорствами.

СТАМБУЛ БЕЗ СОБАК

Второй блок приходит с окраин Стамбула, из ран, нанесённых мега-проектами. Один союз годами ходит по махалле — по кварталам, проходящим городскую реновацию, принудительно перемещаемым, страдающим от проблем общественного здоровья. Киразлытепе — одна из них: асбестовый лом от сноса — именно та проблема общественного здоровья, о которой предупреждал академик. Каждый маршрут — попытка картировать, заархивировать — на разных языках, разными средствами, иногда видео, иногда картой, иногда полуакадемическими публикациями. Потому что Стамбул меняется так быстро, что даже вести его учёт — это борьба.

Северо-Мрамарское шоссе, третий аэропорт, третий мост — череда проектов, начинающихся бетоном и кончающихся бетоном, утверждаемых как начинающиеся сносом и кончающиеся стройкой. Но на скрытых страницах процесса стройки — изоляция животных. Бродячих собак собирают на грузовики и сбрасывают на стройплощадку шоссе — систематически, сотнями, тысячами. Муниципалитет не чипирует, число не ведётся, виновник не определяется.

Документалист, побывавший на месте, рассказывает: представьте, что когда вы туда приходите, к вам бегут сотни собак. Большинство голодны, большинство страдают от жажды. Когда вы приносите корм, они от жажды не могут есть. Даже плотина за ними разрушена, никакого источника воды не оставлено. Огромная зона, ни тени — собаки пытаются укрыться в тени кранов. Поскольку это перекрёстная стальная конструкция, полной тени нет — только полоска. Собаки пытаются заползти под этот полумрак.

«Здесь пост-апокалиптическая среда. Сценарий конца света, прямо внутри Стамбула.»

Molossus — по-гречески «большая собака». Городские домашние уличные собаки оказываются на жёлтых грузовиках, уничтожены и выброшены. Один исследователь годами по одной считал собак, выстроил архив. Но в последний период муниципалитет перестал даже чипировать — так не ведётся никакой счёт, актёр не определяется. То три-пять собак, то десятки-сотни. Жёлтые грузовики везут асбестовый грунт, везут и собак — лом и живое в одном грузовике, в одном направлении, всё, что город не хочет видеть, на север. Тема бетона так даёт возможность смотреть от виновников системы, сильных, властных, к тому, как они выкидывают мусор, лом, потери.

РАСТЕНИЯ РУИНЫ

Сцена затемнена, и начинается манифест — устами растений:

«Разрушение было всегда. И до обезьяны. Для них разрушение — для нас жизнь.»

Рудеральные растения. Первые поселенцы зон разрушения, живущие не в ботаническом саду, теплице, парке или горшке — в трещинах серого камня, в мусоре, в руине, под мостом, на сожжённом участке, у обочины автобана, в строительных ямах, во всех пустотах города. Трава научилась языку человека. В первых заложенных городах, в первых точках войны они появились первыми. Просочились в семена, заняли поля, перешли с континента на континент в желудках птиц, в слюне собак, на шинах машин.

Чтобы выжить, этим растениям не нужны мощные стволы, большие и вкусные плоды, нарядные цветы. Они выбирают не индивида, а множество, не долгую жизнь, а преходящее тощего существования. Бедные питанием, слишком влажные или слишком сухие почвы, слишком щелочные или слишком кислые — это не их забота. Классификации человека непоследовательны: то, чем восхищались двести лет назад, сегодня объявляют вредом; то, что сегодня объявляют вредом, завтра возьмут под охрану.

Манифест насмехается над романтической экологией: «Им не нужны экологические подвиги, никакая болтовня о переработке и реабилитации, никакое спасение. Они — не объекты, которые надо чинить». Потому что чем больше разрушается мир, тем больше они будут размножаться. Каждый порядок порождает новое разрушение, каждое возведение — новые отходы, каждое строительство — новую свалку, каждая свалка — новый ресурс, новую жизнь. Они пережили ледниковые эпохи, аграрные революции, мировые войны — потому что они — катастрофа, хаос, возможность и вторжение.

И самая провокационная строка:

«Человек паразит. В отличие от растения, он не может производить пищу. Он не может выжить, не срезая, не разрывая, не убивая, не съедая растение.»

Но человек одновременно и лучший партнёр рудеральных растений. Расчищает лес, создаёт свалку, прокладывает дорогу, копает канал — где разрушение, там и трава. Растение — не объект, который нужно романтизировать, а агент, живущий рядом с разрушением, питающийся им, превращающий разрушение в жизнь.

ПРОШЛОЕ БЫЛО ПОГРЕБЕНО В БЕТОНЕ

На сцене художник делает торт из цемента, гипса и воды. Гипс делает вкуснее, говорит он. В детстве в деревне не было пекарен — торт был роскошью, мерным предметом, классовым знаком. Теперь материалом этой роскоши, материалом бетона, он пытается поймать консистенцию торта — добавляет немного воды, мешает, говорит «я не умелый, в первый раз делаю торт из цемента». Перформанс — конкретная метафора классовой трансформации; неловкость — часть работы.

В восьмидесятые в деревне были маленькие дома внутри зелёных садов. Все были довольны. Потом началось преобразование: дома снесли и превратили в шестиэтажки с магазинами внизу. Эти многоквартирники заняли всё пространство. Ручей, проходивший рядом с домом, погребли в бетон. Травы школьного двора залили бетоном; население росло, и во дворе построили ещё одну школу. Огромный сад тёти Исмет и дяди Абдуллы с инжирными деревьями снесли и поставили на их место многоквартирку.

«Постепенно всё прошлое погребли в бетон.»

У бетона есть классовая сторона. Для людей, мигрирующих из деревни в город, бетон — символ модернизации; оставить сад и переехать в квартиру было восхождением. Но это восхождение похоронило ручьи, сады, инжирные деревья, детские воспоминания. Художник рассказывает: в супермаркете с подругой увидел цветок, захотел рассказать. Подруга сказала: «уродливый, бок помят». В её голове растение должно быть великолепным — если бок отомрёт, ветка упадёт — плохо. Но тот, кто связан с землёй, знает: бок растения может отмереть, ветка может упасть, сезоны проходят. Вы сажали когда-нибудь? — спрашивает он зал — посев похож на потерю, не похож на покупку из супермаркета.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНОГО МИРА

Единственный носитель надежды на встрече о бетоне приходит из сада-огорода. Сад Рима — в самом сердце Стамбула, живущий как практика обобществления. Родился после Гези, или, точнее, гонится за возможностью, которую открыл Гези.

«Гези было вмешательством в общественное пространство. Там мы заново выстроили жизнь в городе. В сердце каждого упала возможность иного мира.»

Сад Рима — конкретизированная форма этой возможности: пермакультура, солидарность внутри района, преобразование собственным трудом, прикладная политика. Стоящая на ногах посреди ощущения невозможности создания новой зелёной зоны, касающаяся земли, сажающая практика. Все практики, возникшие после Гези — сады, кооперативы, сети солидарности — гонятся за этой возможностью.

Сессия вопросов-ответов набирает неожиданную глубину. На прошлой неделе на встрече о картофеле был земледelec из Карса — сыр, земледелие, связь с землёй — и в зале родилось чувство надежды, доверие к тому, что вещи могут меняться через прикосновение. Когда приближаемся к городу, мы отрываемся от земли, отдаляемся от антиромантического языка растений, замыкаемся. Кто-то ставит под сомнение ложное разделение город-село: мы идеализируем село, мечтаем о далёкой деревне — но капитал, преобразующий и то, и другое, один и тот же. Sengiz строит здесь третий аэропорт, а там — ГЭС. Актёры те же, инструменты те же, сила та же. Тем более что по принятому в 2004 году закону о больших городах у Стамбула формально не осталось сельской зоны. У тридцати трёх больших городов нет сельской зоны — все сёла стали махалле. О каком селе мы говорим?

Другой голос выражает безвыходность: на планете, прошедшей через пять больших кризисов, наш кризис — один из них. Я не нахожу в книгах, почему я должен защищать биоразнообразие. То, что нахожу, варварское, человекоцентричное — в конечном счёте предлагает системы, разрушающие иные существа. Я не знаю, что такое абсолютная справедливость.

В этой темноте кто-то рассказывает историю, мешающую смерть с жизнью: пятилетней дочери он объясняет смерть так — «мы станем дождевыми червями, цветами, насекомыми». Дети в этом возрасте замечают и спрашивают, и о смерти говорят через жизнь. То, что он говорит дочери в повседневной жизни, должно отразиться и в борьбе — двигаться, не одерживая победу, не будучи правым, плетя процесс. Если мы продумаем до конца, всё и так рухнет — но сам процесс несёт мудрость. Можем вместе спуститься отсюда вниз через Galataport, говорит кто-то — само место — ирония, мы прямо посреди превращения индустриального наследия в роскошное потребление.

Если бы говорил работник переработки, он сказал бы «переработка нас разорила», — говорит кто-то — потому что и в его голове переработка — это то чистое понятие из муниципальной рекламы. Но то, что описывается как отходы, имеет цену; понятия, описываемые как экология, поглощаются рынком. Берлинская городская реновация: магазины Aldi закрываются, на их место приходят эко-маркеты — тот же продукт продаётся в два-три раза дороже. Одно время говорили «городская переработка» — очень приятное понятие, потому что это слово, цветущее всё. Экологический нарратив — новый инструмент капитала. Сад Рима может что-то сделать, но и сектор может купить те же понятия и продать иное.

Один голос предлагает объединить борьбы: связь между сопротивлением долины Дикмен и рассказом о саду Рима. Сады Хевсель. Показать, что это не отчуждение, что в центре или на окраине эта борьба общая — умножать пространства, связывать одно с другим.

Когда зал расходится со встречи о бетоне, в руке остаётся несколько вещей: невидимое насилие асбеста, беспомощность собак в тени крана, манифест рудеральных растений, рождённый из разрушения, горький вкус торта из бетона и упрямая зелень одного сада. Глядя на город, мы отдаляемся от обнадёженного тона встреч о картофеле и воде — но рудеральные растения Керема как раз в этом отдалении предлагают модель жизни: расти там, где разрушение.